Григорий СТАРИКОВСКИЙ

Григорий Стариковский родился (1971) и вырос в Москве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский университет (кафедра классической филологии). Переводил «Одиссею», Пиндара, Вергилия, Проперция, Авла Персия. Сборники стихов «Левиты и певцы» (2013) и «Автономный источник» (2017). Живет в пригороде Нью-Йорка. Преподает латынь и мифологию. В «Волге» публикуется с 2014 (в том числе под псевдонимом Герман Бер).

ПРОВОЖАТЫЙ

повесть

айпа – гл. пер. 1. дотягиваться, доставать (рукой); 2. протягивать руку (за чем-л.); 3. хватать, быть достаточным; 4. достигать; прибывать (куда-л.)
Большой кечуа-русский словарь

1

только что было холодно: утренняя тень долго держалась в ущелье, тянулась по склонам, известняковым вздутиям и уступам. мы поднимались по узкой тропе и не могли согреться; накопленная с ночи стынь прохватывала насквозь. наконец, солнце взлетело над ущельем. свет, как текучая дюна, расползся по белесым камням. всё стало другим: вкус воздуха, его плотность: сухой зной сыпался за воротник штормовки, обжигал щеки и лоб. кустарники с желтыми цветками лепились к скале. жухлая трава терлась о камни. приземистые кактусы в белой пене цветения, будто снегом присыпаны. джемма остановилась, посмотрела вниз: склон обрывался к реке. воды видно не было; мы даже не слышали, как скулила она, бросаясь в просветы между вросшими в дно валунами. я спросил:
– ты устала?
она не ответила. вытерла пот со лба рукавом куртки, села на камень. широкие поля черной негнущейся шляпы наполовину закрывали ее лицо. я видел рваный румянец на правой щеке и спутанные волосы возле уха. плотная куртка висела колокольным куполом.
– джемма, сними куртку.
она наклонилась вперед и застыла, как морская фигура из детской игры. ее взгляд – намертво вогнанный в землю столб, не качнуть, не вырвать.
– хочешь, я понесу твою куртку?
я повторил вопрос. она ответила:
– мне и так хорошо.
– сними, говорю, куртку и выпей воды.
джемма стягивала куртку исступленно; боролась с ней, как с диким зверем. сняла и повязала вокруг поясницы. прямые рукава топорщились сбоку, точно просили милостыню. колыхнулось желеобразное туловище, обтянутое взмокшей тишеткой с названием пенсильванского университета. пухлые кисти рук и предплечья в розовых

пятнах пота. правое плечо чуть выше левого. сняла шляпу, голова круглая, тыковкой. джемма – огородное чучело, набитое влажной соломой.

подобрала походные палки.
– эти овцы, помните…
– какие овцы?
– ну, эти, вчера. выбегали навстречу, кричали. я думала, это они меня зовут «джэ-э-эмма, джэ-э-мма».
– овцы не умеют говорить, как люди.
– а эти говорили, и я хотела ответить им, но не знала, как сделать, чтобы они поняли... может быть, они разговаривали не со мной, а с мулами или лошадьми?
– давай лучше пойдем быстрее… мы и так очень сильно отстали… смотри, никого на тропе нет, все уже наверху.

утром она впервые установила *зрительный контакт,* если ее мутный взгляд – так один человек смотрит на другого сквозь грязное окно – можно назвать *контактным*. ее глаза – серые радужки в белесом киселе склеры. она смотрела на меня, одновременно устанавливая и отменяя зрительную связь между нами. возможно, она видела лишь очертания человека, стоявшего перед ней, да и те, скорее всего, были произвольны и сбивчивы.
– вы сегодня будете моим провожатым?
подавляя отвращение, ответил: *– да, конечно, буду*... больше, собственно говоря, некому; на полторы дюжины подростков нас – двое взрослых, вероника и я. проводник антонио не в счет, он сопровождал основную группу, на привалах увивался возле вероники, скалил крепкие зубы, пробовал шутить, но юмор у него – местный, грубоватый. назовет кого-нибудь жареной рыбой или маисовым киселем, или святым петром со связкой ключей, и сам смеется, и смех у него такой, словно ключи позвякивают. вероника, присланная английской турфирмой, руководила всей экспедицией. я помогал веронике, *обеспечивал*, по ее словам, *моральную поддержку тем, кто в ней нуждался*. одутловатая джемма досталась мне.

джемма двигалась черепашьим шагом. походные палки не ускоряли и не смягчали движение; наоборот, служили помехой, беспорядочно ударяясь о закраины тропы. джемма быстро выдыхалась, наклоняясь вперед всем отечным туловищем. ловила разреженный воздух, высунув кончик языка.
– вы обещали, что тропа будет ровной.
– ничего я тебе не обещал.
джемма часто останавливалась. постоянное выражение коровьей, вязкой глупости на ее лице. я поторапливал джемму; наверху нас ждала остальная группа. вдруг она нахмурилась, губы скривились, как рот паралитика. закричала, что это я виноват в ее ожесточенной беспомощности, в том, что голова кружится, и ноги устали, и руки тоже; она пожалуется на меня своим родителям, веронике, директору школы, в которой она учится, а я работаю.
– отдохни немного, и мы пойдем дальше.

мы медленно продвигались наверх. я смотрел на изрезанную льдом вершину на другой стороне ущелья, на андийских гусей, летевших на уровне наших глаз. тропа вилась вдоль скалы; казалось, она тоже ползла наверх вместе с нами.

джемма остановилась и заплакала. размазывала слезы кулаками по скулам.
– *успокойся, джемма.*
она плакала и говорила, что хочет домой. я обвел рукой то, что лежало рядом или вздымалось над нами.
– *здесь одни горы, джемма, ни дорог, ни машин... мы не сможем отправить тебя домой, пока не придем в город.*
– *далеко до города?*
– *еще два дня и две ночи. выпей немного воды, успокойся.*
больше я ничего не мог ей сказать. слезы прекратились так же внезапно, как начались. я протянул бутылку, толстобокую, из прозрачной голубой пластмассы.
– *сделай десять глотков, хотя бы десять…*
иногда она проявляла интерес к вещной стороне бытия, например, к запаху жидкого клубничного мыла или к подгорелой корочке оладьев, которыми нас кормили по утрам. она хитро улыбнулась, два узелка завязались по краям губ, пританцовывали пухлые щеки. взгляд прояснился, она посмотрела мне в глаза, кажется, в первый раз. спросила, сколько капель я нацедил в воду. мысль джеммы прозрачна, как полуденный воздух. я действительно переборщил с дезинфекцией, вместо шести выцедил восемь или девять, кто их считает. вода получилась горше, чем обычно.
– *зато мы устроили знатное избиение всякой обитавшей там микробистой швали.*

джемма втягивала воду медленно. первый глоток длился, как ночной гудок товарняка в нью-йоркском предместье, куда я перебрался лет десять назад из города. когда составы неторопливо проезжают мимо, соседние дома, стоящие на песчаной почве, исходят дрожью; трясутся кровати; покачиваются люстры. в первый раз я подумал, что начинается землетрясение, посмотрел в окно, – в соседних домах света не было, все спали... джемма протянула мне бутылку; я не взял ее.
– *помнишь наше условие? нужно еще девять.*
она сделала еще девять и возвратила бутылку, отводя взгляд.
– *интересно, как там сейчас наши курицы?*
картонные коробки с курицами перевозили на мулах, по две коробки на каждом мульем боку. курочки тесно прижимались одна к другой, боялись выглянуть наружу, а если выглядывали, то сразу же втягивали в себя круглые головки, похожие на мячи для гольфа. по вечерам в палаточном лагере курочек выпускали, подкармливали, наливали ледяной воды в глубокую алюминиевую тарелку.
– *главное, чтобы их не съели до вечера.*

мы выбрались на плато и присоединились к остальной группе. к полудню джемму стошнило. она стояла возле полуразрушенной каменной стены, держалась обеими руками за камни. белесая жижа медленно выползала из ее рыбьего рта. я достал из рюкзака салфетки. она отерла губы и подбородок. я спросил, не стало ли ей легче; может, дать воды или еще чего-нибудь. она сказала, что ее немного покачивает и голова кружится

сильно, будто она до сих пор ходила с завязанными глазами, а теперь повязка упала, и всё, что она видит, находится в круговом движении.

пока остальные обедали супом и картошкой с яйцом, я посадил джемму под дерево (тогда еще попадались деревья и прохладная тень под ними, размазанная по траве), покормил с ложки. суп не всегда проглатывался, иногда выплевывался или проливался на землю; зернышки киноа прилипали к подбородку; я смахивал их салфеткой. джемма сидела, привалившись спиной к стволу дерева; то открывала, то закрывала глаза, как большая кукла. сказала, что хочет в туалет, но не может подняться. я помог ей встать. опираясь на мою руку, дошла до отхожей палатки, которую антонио прозвал *волшебным домиком*. на обратном пути положила пухлую руку мне на плечо. я почувствовал ее противное туловище, прижатое к моему. меня чуть не вырвало. я отвел ее обратно в тень. джемма легла на спину, закрыла глаза. казалось, что она спит, но она не спала. так бывает, когда закрывают глаза и бодрствуют.
– *вам здесь нравится?*
– *да, очень. а тебе, джемма?*
– *совсем нет… отправьте меня домой.*

2

автомобильное месиво лимы, продавцы газет на разделительной полосе между потоками транспорта; грузовики, их открытые тряские кузова; городские автобусы, люди в них, утонувшие в смартфонах. на детскую площадку возле широкой авениды волокут раскладные стулья, столы; рядом с качелями на асфальте – пять-шесть двухлитровых бутылок с питьевой водой и желтоватой инка-колой; разноцветные шарики *с днем рождения* привязаны к столбу качелей.

выезд на коста верде, внезапный разрыв, освобождение взгляда: длинные серые волны, наползание одной на другую. я видел черные фигурки серферов, похожие на мертвых дельфинов. образ океана – брешь в лице города, его последний обморок, окончательная тишина. берег изогнулся подковой, будто хочет втянуть в себя всю эту многослойную влагу. на другой стороне подковы оранжевел электрический крест в память приезда римского папы. между трассой и океаном на плохо освещенном футбольном поле бегали люди и пинали мяч, он вертелся в луче прожектора и выскальзывал из него. стояла перуанская зима.

накрапывал дождик, тонкая, ювелирная взвесь. тяжелые сырые облака застилали небо, как будто в нем, этом небе, отразился серый войлок океана.

на паспортном контроле со мной разговаривал пограничник с круглым, как циферблат, лицом. он полистал паспорт, апатично произнес имя города, в котором я родился; потом спросил: *кто тебе больше нравится, президент твоей новой страны или президент прежней?* я ответил, объяснив свою точку зрения. он поморщился, пожал плечами, поставил печать, высокомерно кивнул: *welcome to peru.* возле багажной карусели джемма читала вслух с экрана мобильника: *жила девочка, у нее была большая белая собака; однажды девочка лежала в постели и не могла заснуть, вдруг она услышала звуки, будто*

кто-то скулил; ей стало страшно. родителей дома не было, сначала она боялась встать с кровати, потом отважилась. в ванной увидела большое красное пятно на стене, поглядела в зеркало, оттуда на нее смотрели два темно-коричневых собачьих глаза. сидевшие рядом подростки сказали:
– ну и дерьмо эта твоя история.

мы приехали в мирафлорес, выгрузились возле хостела. ко мне подошел человек небольшого роста, с перекошенной физиономией, будто у него болели зубы. он прошамкал что-то, но я ничего не понял, кроме: *английский... куда собираетесь? не на мачу ли пикчу?* я ответил, что да, собираемся. он сказал, что это хорошо, и попросил дать ему немного денег на еду и ночлег. он теребил край своей грязной байковой рубашки, прочищал глотку мелким кашлем, как полосканием. я протянул ему две-три монеты. он схватил их длинными заскорузлыми пальцами с грязными ногтями, прищурился и попросил еще, на прокорм семьи. я ответил, что и этого достаточно, *суфисьенте, суфисьенте...* человек ухмыльнулся половиной рта и через мгновение исчез в толпе. подошла вероника:
– соришь тут деньгами.
– с ними легко расставаться.
– этот жуликоватый тип – профессиональный нищий, морочит людям голову, а сам наверное живет неплохо, не хуже других.
– да, я знаю, что он хитрил.
– мы их только развращаем подачками.

подростки научились заказывать стол на двадцать персон. вскоре я знал все окрестные рестораны, рассчитанные на средний бюджет.
– уложимся в бюджет?
– не проблема, уложимся.
мы поглощали гамбургеры, картошку фри, салаты из авокадо и кукурузы чокло, суп из киноа, ломо-сальтадо, севиче, жареных морских свинок. официанты подбегали расторопно, спрашивали нараспев:
– пить что-нибудь желаете?
– да, желаю чаю из листьев муньи.
– прекрасный выбор, прекрасный, – напевал официант и исчезал на кухне.

в первый вечер после прилета мы с вероникой сидели в кондитерской, пили капучино и обсуждали, как нам быть с джеммой. хрупкая, как птичка, вероника чирикала:
– о чем думали родители, отправляя девочку в таком состоянии? это безмозглое существо притащилось сюда без свитера. я ей говорю: – где твой свитер? а она, представь себе, в глаза даже не смотрит, точно не о ней речь. знаешь, что она мне сказала? зачем мне свитер, в лиме пятнадцать градусов тепла. я хотела сказать: дура ты, дура набитая, в лиме мы несколько дней, а потом в анды, там по ночам минусовые температуры... намучаемся мы с ней. вероника отпила из высокого стакана, внимательно посмотрела на меня и улыбнулась, раздвинув горизонтальную скобку тонких губ: *– мучиться будешь ты.*

я не видел кафедрального собора в лиме, не заходил в музей пирамиды в мирафлоресе, не рассматривал золота инков, не гулял в роскошном парке над береговой подковой. *о, колючие сейбы с красными и розоватыми цветами; дорожки, обсаженные невысокими сучилями, жакарандами, шелковицами; террасы, увитые плющом и жимолостью…*[1] время, проведенное в городе марио льосы, было отдано на откуп подросткам. странное, давно забытое ощущение зависимости от других, как в детстве, когда хочется побыстрей вырасти, забыть людей и обстоятельства, подчиняющих тебя своей воле... всё, что осталось мне от лимы – вид из окон автобуса или хостела.

хостел «летающий пес»». второй этаж в обшарпанном строении на углу сквера, скрипучие половицы, осклизлая душевая с двумя кабинками. комнатка с балкончиком. на балкончике – два высоких стула; между ними столик на витой металлической ножке, на столешнице дешевая китайская пепельница в темно-серых потеках. балкон нависает над входом в сквер. только что закончился музыкальный фестиваль. стенды, арматура, какие-то доски лежат на газоне. рабочие разбирают эстрадный мусор.

дождик слезен и ненастойчив. очертания однотипных домов смягчаются. дворник в помятых синих штанах с белыми лампасами метет выложенную плиткой дорожку. небольшой стенд возле входа предлагает взять в питомцы бездомного кота или кошечку. на крыше супермаркета широкий экран. сообщение о распродаже. сперва появляется кареглазая красавица в белой рубашке (рукава вразлет) и синих расклешенных брюках. вскоре на месте, где сиял ее ангельский взор, возникают ботинки, свитера, сумки, рюкзаки.

кот (или кошечка) закинул(а) передние лапки на решетку сквера; выгибает спинку. полицейский с автоматом наперевес дежурит возле мусорного бака, несколько голубей сидят на фонарном трилистнике. пожилой человек в длинном плаще и очках проходит мимо. женщина в зеленой курточке собирает листья оранжевыми граблями. труд, похожий на игру в теннис невидимыми ракетками, поверх невидимой сетки: палые листья давно убрали, деревья и газоны ждут теплого времени года. парень обнимает девушку с таким усердием, будто хочет ее задушить. она осторожно держит его за плечи, охлаждая горячность юноши. на ее голове смешная шапка с помпоном. проходит белокурый турист (немец, скандинав?) в шерстяной перуанской кофте. несколько человек в синих строительных комбинезонах чинят дорогу. уборщица невидимых листьев что-то говорит парню; он делает вид, что не слышит ее, – обнимает свою подружку, целует ее в губы.

3

вечером возле палатки, в которой трудился повар модесто, вытянули эллипсом проволочную сетку; внутри сетки поставили алюминиевую тарелку с ледяной водой, рядом насыпали кукурузных зерен. поджарые, как стервятники, курочки – черные и рыжие, с алыми хохолками – не сразу подходили к корму, сперва разгребали лапками мягкую землю, поклевывали ее, издавая негромкое квохтанье, похожее на хлюпанье грязи после дождя. подергивались охвостья. отрывистые движения головками вперед-назад. блестели пуговичные, будто приклеенные, глазки. одна курочка перемахнула через сетку,

[1] Марио Варгас Льоса. Похождения скверной девчонки.

пустилась прочь. антонио крикнул: – *ловите ее скорей.* мы побежали за ней, но не успели догнать. беглянка забилась в расщелину.
джемма сказала:
– *не мешайте мне, я сама ее достану.*
запустила руку в расщелину, некоторое время нащупывала курочку. вдруг взвизгнула, рыхлое тело скрутила игольчатая боль. опустилась на землю, подула на указательный палец, из которого сочилась кровь. я принес аптечку, протер ранку перекисью водорода, сверху заклеил пластырем, обмотал марлей.
– *попробуй согнуть. сгибается?*
– *да, сгибается.*
– *завтра переменю повязку.*

я лег на живот и увидел рыжий куриный бок. просунул походную палку в расщелину, ударил курочку резиновым наконечником, потом осторожно приподнял снизу, чтобы не размозжить голову. она сдалась и вышла на свет, выражая безразличие дробным подергиванием головы. я взял ее на руки, ощутил мягкость перьев, теплоту бугрящейся жизни, опустил внутрь проволочного эллипса. она отряхнулась; приблизилась, как заведенная механическая игрушка, к оставшимся зернам, склевала несколько. заходящее солнце на мгновенье осветило ее пуговичный глаз, наполнило мнимой осмысленностью.

измотанные за день, мы заползали каждый в свою палатку. моя – треккинговая, для восхождений. стеклопластиковая дуга, защита от воды, но изморозь все равно насквозь. двухслойная – тент и внутренняя палатка, материал дышащий, даже, пожалуй, слишком; окошко для вентиляции; спальный коврик, надувной; система растяжек, дно из капрона, швы проклеены. пластмассовые крепления лопались одно за другим. палатка сморщилась, как ворох только что постиранного белья. внутри едва хватало места, чтобы разместить надувной коврик, спальник и рюкзак, ютившийся возле ног. спальник китайский, дешевый. плохо защищал от холода; ночью приходилось обматывать ноги грязными майками. наставало время, принадлежащее мне одному, можно было читать или записывать; я доставал тетрадку и книгу.

джемма подошла к палатке, дернула за край тента, окликнула меня по имени.
– *что случилось, джемма?*
– *у вас нет таблеток от поноса?*
– *у тебя понос?*
– *да, шесть раз бегала.*
говорила она так, будто живот болел у другого.
– *вероника сказала, что сразу давать не надо. потерпишь до утра?*
– *да, попробую.*
– *спокойной ночи. сладких снов.*
я открыл единственную книгу, взятую в экспедицию, – кропотливый разбор одной греческой драмы. она начинается описанием чумы, насланной богами за преступление, которое надо расследовать, – тогда чума закончится. главный герой ведет дознание, а на самом деле разматывает клубок собственной жизни, постепенно вступая в черную воду безумия. остальные говорят герою: остановись, но он продолжает вглядываться в себя, в

одну бесконечную ночь своей жизни... я отложил книгу в сторону, на небольшой островок капрона между спальником и индевеющей стенкой палатки.

– *как тебе спалось?* – вероника смотрела на меня из-под двух капюшонов, курточного и свитерного. ее взгляд – смесь деланой доброжелательности и брезгливости. ритуальная вежливость на все случаи жизни. неужели ей действительно интересно, как я провел прошлую ночь? под широким белым навесом на раскладном столике несколько тарелок с пригорелыми оладьями; на темно-коричневой корочке – тонкой полоской крема – парабола улыбки или перекошенная звездочка. антонио спросил:
– *тебе какого чаю налить, черного, ромашкового, или из листьев муньи?*
– *налейте черного.*

после завтрака джемму посадили на приземистую, бокастую лошадку. которую вел на веревке погонщик энрике; его лицо, покрытое сетью шевелившихся при ходьбе морщин. в свободной руке он держал небольшой радиоприемник, с матовым корпусом под мрамор. джемма вцепилась в седельную луку.
– *тебе нравится ехать на лошади?*
она не ответила.
– *ты когда-нибудь ездила верхом?*
– *нет, это – в первый раз.*
я умолял энрике не спешить, но он не слушался. когда энрике останавливался, чтобы дать передышку своей лошадке, я нагибался к земле, как человек, получивший удар в солнечное сплетение; ловил воздух сухими, растрескавшимися губами...

каждым шагом я вбивал в тропу гулкое *быть-быть-быть*. если повторять это слово много раз, можно услышать, как замкнуто оно в себе, самодостаточно, не то что английское *be*, которое, как лодка под парусом, – куда ветер дует, туда ее и несет. идешь, проговаривая каждым соприкасанием подошвы с тропой *быть-быть-быть*; протискиваешься между створками двух согласных, «б» и смягченного «т» – в средоточье сл***о***ва, в надрывное «ы-ы-ы», в сердцевину своей судьбы. теперь, на крутом склоне, створки казались разбитыми, и желток весь вытек. во мне жила пустота, как внутри гипсового слепка собаки, засыпанной пеплом везувия. окончательность взгляда, слуха, воздуха. постепенно я переставал ощущать себя, забывал о своем присутствии здесь; исчезал, как музыкальная фраза, – прозвучала и стерлась. обтрепанная бахрома сознания, расщепление бытия, его мельчайших форм.

я – свеча, брошенная в кувшин, оставленная под кроватью. я – связка старых газет, которая вывалилась из мусорной машины на мостовую; начался дождь, и газеты вымокли; связка ужалась, а дождь всё лился и лился. на следующее утро связка еще больше приплющилась, а через день – дождь затяжной, жирными струями – осталось пятно на проезжей части... я – раковина, выброшенная на пустынный берег, никто не поднимет меня, не поднесет к уху, не услышит шепот, исходящий оттуда. меня бросили в воду, я не могу оттолкнуться от вязкого дна, чтобы выплыть наверх, надышаться всласть. я тащился за лошаденкой, которая то пускала ветры мне в лицо, то вываливала под ноги зеленоватые, текучие, парные лепехи.

я полз на перевал, поддерживая себя походными палками, чтобы не упасть на колкую траву, не разодрать лицо в кровь. наверх, наверх, наверх, как три сестры – *в москву, в москву, в москву.* воздух пустой почти, весь сок из него вышел... я превращался в зверя, в желтый звериный оскал, разрывал в клочья сизые осыпи и пыль над склоном, пожирал мясо земли и кости камней. набивал рот лишайником, как ребенок – сластями. я взошел на перевал и увидел дальнюю вершину в ледяных зализах. мне насвистывал голодный, злой ветер.

я фотографировал горы и сразу удалял снимки. на фотографиях вершины были похожи на черновые, необязательные наброски вскользь. настоящие горы высились рядом, в рваной, нетленной сбитости, как стихи державина. джемма сказала:
– пока мы поднимались на перевал, я думала, зачем нам всё это нужно.
– что – нужно?
– ну, эти ноги, которые у нас…
– чтобы ходить, наверное...
– помните окно подвального ресторана в лиме. там ноги как люди, вместо людей.

4

выбирали между археологическим музеем и танцами. выбрали танцы. по *лос пинос* пять минут прогулочного шага до *т*-образной бетонной пятиэтажки. на первом этаже светилась неоновая вывеска секс-шопа. рэймонд предложил заглянуть в магазинчик. я ответил, что при случае обязательно, а сейчас никак. рэймонд сказал:
– если ты одинок, тебе поможет резиновая кукла.
– мы обсудим кукольную тему после танцев.
я неплохо знал рэймонда, преподавал ему латинский язык. дальше amo-amas-amat он не продвинулся. если бы рэймонд изучал латынь с таким же усердием, с каким осваивал азы женской анатомии, дошел бы, наверное, до *сдохшего воробышка моей подружки*[2]. в школе подбегал ко мне, пожимал руку или бил кулачком в кулачок, спрашивал вкрадчиво: *правду говорят, что в детстве вы разбирали автомат калашникова?* я отвечал, что да, разбирали и собирали, ничего сложного в этом нет.
– я это проделывал с завязанными глазами.
– вы что, к войне готовились?
– нет, на всякий случай.

мы поднялись на второй этаж: длинные коридоры без окон, на дверях – жирные металлические решетки. одна дверь отворилась, в проеме появился смуглый женоподобный юноша в черном трико. он улыбнулся, назвался даниэлем и провел нас в продолговатую комнату. наблюдать за мягким шагом, гибким телом даниэля – всё равно что разминать пальцами кусок пластилина. зеркало, занимавшее всю стену, постепенно затуманивалось. вскоре я едва различал напряженно-внимательные лица подростков, их неумелое подражание скользящему шагу наставника. вероника сидела на стуле в углу комнаты, кивала на танцующих и смеялась, она была похожа на дрессированного пуделя, который сучит передними лапками и тянет нос кверху.

[2] Гай Валерий Катулл 2, вольный перевод.

даниэль расставил подростков в шахматном порядке и начал учить счету: *сначала идем вперед,* он гладко ступал с левой ноги, *уно-дос-трес, а теперь три шага назад*. возвращался в исходную позицию, отсчитывая *синко-сеи-сьете*. так они вышагивали туда и обратно, с пропуском четверки-*куатро*. досчитав до трех, даниэль замирал. казалось, он вслушивался в четвертый, неосуществленный шаг. брал паузу, стряхивал с себя дурман танца. просыпался на мгновение внутри разрыва, в этом почти элегическом зиянии, чтобы сейчас же забыться в выверенной, шелковистой поступи *синко-сеи-сьете*.

в комнате стало жарко, на лицах подростков выступили капли пота. одеты они были не по-танцевальному: кроксы, широкие перуанские штаны, купленные в сувенирных лавках мирафлореса. на юношах – красно-белые футболки национальной сборной. заиграла песня: омерзительный женский голос, как теннисный мячик, метался по комнате. речь шла о деньгах: то ли ухажер должен осчастливить девушку внушительной суммой, то ли девушка собиралась напропалую сорить деньгами, полученными от воздыхателя. даниэль учил подростков, как следует – осторожным шагом пумы – подходить к помутневшему зеркалу, в котором плыли их потекшие силуэты, и выставлять перед собой одну ладонь, а другой смахивать деньги на пол, выражая нечто промежуточное между равнодушием и презрением. подростки приближались к зеркалу и, открывая левую ладонь, сорили невидимыми деньгами.

на улице ко мне подошла вероника.
– *надо поговорить о важном.*
ее губы почти касались моей щеки. глаза как две стоящие рядом чашечки кофе, если смотреть на них сверху. в ее голосе была доверительность, почти нежность. ее дыхание растекалось по моей щеке. я долго не мог уловить смысла пружинящих слов; пришлось повторить сказанное, прежде чем я начал понимать:
– *у нас проблема... мне надо с тобой посоветоваться.*
– *что случилось*?
она быстро и шепотно продолжила. я снова ощутил ее дыхание.
– *если хочешь, я сама поговорю с ними*.
– *нет, мы поговорим с ними вместе.*
в знак благодарности она дотронулась до моей руки. когда мы вошли в ресторан, все уже сидели за столом, вернее, за двумя столами. за вторым, что поменьше, расположились наши юноши и девушка; на ее шее алела продолговатая отметина, напоминавшая карту португалии. несколько дней назад, в экспедиции, во время ужина мы недосчитались двоих. я отправился на поиски. проходя мимо крайней палатки, услышал сопение, глубокие вздохи, периодические причмокивания. подумал, *неужели на такой высоте они еще могут заниматься этим*? *удивительны дела твои, афродита...* вернулся и сказал веронике:
– *всё в порядке, они скоро придут.*

в ресторане подростки громко разговаривали. их голоса сливались в один голос, в лоскутное одеяльце, сшитое из ничего не значащих фраз, в которые можно не вникать, до того они очевидны. каждое слово выражало самый поверхностный смысл, вроде плоской белой тарелки, которую забыли убрать в буфет. подростки как будто стояли в очереди к

умывальнику; когда один заканчивал мыть руки, следующий начинал, а тот кто закончил, сразу же становился в конец очереди.

когда их спросят, что вы там делали, они ответят: *ели одно и другое.* скажут: *мы познакомились с их культурой.* перечислят супы, салаты, вторые блюда, десерты. *их культура не похожа на нашу культуру,* скажут они. я им отвечу: вот вам яблоки или морковь, скушайте яблоко, погрызите морковь. выжмите сок и выпейте его. я съедаю вашу культуру, а потом она покидает мое тело, в виде сами знаете какой субстанции... *нет, нет,* говорят они: *ты лучше поешь чего-нибудь нежного, чем вглядываться в этот мир, да и что ты увидишь за стеной ресторана, – тени, как змеи, текущие за пазуху гор; морщинистых тусклых людей, погонщиков и носильщиков с лицами будто обмазанными суглинком; пегую пыль, которую вдыхаешь на подъеме; услышишь хруст заиндевелой травы, выползая из палатки. нет,* скажут они, *если хочешь оплакать этот мир, начни с себя.*

5

я лег лицом к речной воде, зачерпнул прозрачной и льдистой. почувствовал колючий холод на щеках и верхней губе, будто с лица содрали прежнюю кожу и обтянули новой. возле излучины валялся конский череп, выбеленный ветром до свадебной белизны, вроде музыкального инструмента, на котором играет смерть, – надо только приникнуть и вслушаться. джемма принесла череп в лагерь, поглаживая носовую кость, заглядывая в пустые глазницы.

местные говорили, – *здравствуй, брат.* брат на языке индейцев кечуа – *вайку.* все, живущие в андах, – братья. повар модесто резал и ощипывал куриц, готовил питательные супы, лил ледяную воду на руки подростков до и после обеда; ни слова лишнего, вообще ни слова, от силы два-три междометия, *младенческие ау-ау-ау или аи-аи-аи.* мне, конечно, другое слышалось, пушкинское: *к аи я больше не способен, аи любовнице подобен.* модесто появлялся из кухонной палатки, садился на табурет, потрошил куриную тушку. он был похож на камень, даже когда орудовал ножом. сутулый погонщик эмилио, напротив, всё время куда-то спешил, задавал корму лошадям и мулам, обслуживал *волшебный домик,* ставил и собирал палатки. вечером садился в стороне и включал радио. слушал трансляции футбольных матчей, не обнаруживая никаких эмоций, кто бы ни побеждал на поле, свои или противник.

после обеда я достал из рюкзака тетрадь, начал записывать, но далеко не продвинулся, – меня прервал антонио. подошел и спросил, чем я занимаюсь. получив ответ, сказал, что тоже хочет написать книгу.
– давай начнем твою книгу прямо сейчас. вот – тетрадь, вот – чистый лист. говори, я буду записывать.
он, кажется, смутился. ответил, что всего лишь собирает материал. я поинтересовался, какого рода материал.
– о любви. в последнее время я разочаровался в женщинах. городские перуанки – такие собственницы. знакомлюсь с девушкой, вроде нравимся друг другу, всё нормально. а

потом она хочет, чтобы я был у нее под боком, как пуфик какой-нибудь. понимаешь, брат, если ты ходишь в экспедиции, личная жизнь летит к чертям.
– понимаю, брат… был такой поэт, гесиод, он говорил, что женщина – вообще разочарование. может, эти городские собственницы, не желая иметь с тобой дело, спасают тебя.

после обеда мы снова с джеммой. тропа несложная, даже для нее. она разговорилась, сказала, что выгуливает собак и сидит с детьми, смотрит с ними мультфильмы, играет в настольные игры и в прятки. в детстве боялась, что спрячется где-нибудь, а найдет ее совсем не тот, кто должен искать. выудила и показала мобильник, два дня как сдохший, купленный на заработанное. ее монолог прервался внезапно, – я снова увидел опустелое, без выражения, лицо, как брошенный дом, одни голые стены и скрипучие половицы. джемма остановилась. в одной руке она держала походные палки, другой подтягивала штаны.

– мне нужен новый ремень, старый порвался. где можно купить новый?
– подожди меня здесь.
я отошел в сторону, к промоине. нарвал тростника, кое-как сплел из стеблей ремешок, пропустил сквозь шлевки, завязал двойным узлом спереди. джемма равнодушно отнеслась к моим прикосновениям, даже когда я потянул вверх куртку, повязанную вокруг бедер, – на выпирающий живот, даже когда дотронулся до него. это оплывшее тело было ей навсегда чужим. мы двинулись дальше. некоторое время она молчала, потом вдруг спросила, что происходит с человеком, когда тот умирает.
– ничего не происходит. он улетает на небо, превращается в тонкий воздух, а потом о нем все забывают. посмотри на небо, как много там места.
она сказала, что есть такие телепередачи, в которых всё объясняют, даже про смерть. заговорила о лунном заговоре: американцы никогда не высаживались на луну, а документальные кадры высадки – подделка: флаг был неправильный, и прыгали они слишком высоко в своих скафандрах. потом вдруг добавила:
– когда мы были в аризоне, в большом каньоне, я думала, что всё это – ненастоящее.
мы смотрели на снежную вершину, загромождавшую горизонт.
– если это – картинка, зачем я на нее смотрю?

джемма снова замолчала. я тоже не говорил ничего. мне казалось, я забывал свой язык, вернее, *свои* – родной и приемный, переходил на безгласие, на узелковую речь анд. узелок на счет и на память, нити альпаки или ламы. я говорил нитяными взгорбиями молчания: *летит кондор в небесной полынье между двумя вершинами*. инки помещали всё, что было вокруг, в нитяные наросты, сплетенье и цвет: сколько жителей в этом селении, мужчин и женщин, здоровы ли они. в тонкие нити разной окраски вплетали ракушки или кусочки растений, делали несхожими узелки, – узел простой, большой узел, узел в форме восьмерки. черный цвет нити – время или болезнь, красный – война, желтый – золото или урожай, белый – серебро или мир, палевый – отсутствие чего-нибудь, например, тепла или радости.

я и джемма – две нити между небом и андами. ее нить покачивалась, не достигая твердой поверхности, как голая лампочка на шнуре. вся ее жизнь становилась зримой, в мелких

вздутиях узелков: вот отец приносит розы в родильную палату, мать сидит на койке, кормит ребенка грудью; родственники возле купели, мужчины в костюмах, женщины в нарядных платьях (не забыть воскресные шляпки); крестный держит девочку на ладонях, осторожно, чтобы не соскользнула; падре поливает ее святой водой. несколько сквозных узелков о предместье, в котором она живет: станция пригородной электрички, желтая надпись «не приближайтесь к путям»; фермерский рынок; небо сползает за пазуху сквера; на флагштоке мэрии льются и льются звезды и полосы по белому полю материи. возле коробчатого здания почты – машины; кажется, единственные здесь люди – посетители почты, особенно много их перед рождеством, будто все эти люди отправляют посылки самим себе и через день возвращаются, чтобы получить посланное. главная улица, зимняя, бесснежная, выцветшая; тротуар с потеками и неглубокими повторяющимися надрезами, чтоб не скользила обувь. дома двухэтажные, дышат наружу. плоские крыши магазинов, рестораны итальянский и греческий, в церквях не звонят больше, электричка-экспресс не останавливается, проносится мимо, посылая протяжный, глухой сигнал, прохватывающий тишину.

другая нить, потемней, от нее пахнет дымом. льдистая вершина, как гитарный колок, держит ее. всякий раз возвращаюсь в горы, чтобы притронуться к этой *моей* нити, каждому ее узелку, чтобы каждый издал свой комариный писк, прожег память... прикоснуться и вспомнить себя как чужого. узелок палевый, рождение в ночь с понедельника на вторник; шел снег, последний, апрельский, московский. узелок черный с красным – школа, ее построили на месте кладбища; два мальчика-мушкетера фехтуют на берцовых костях, найденных в траншее. ночной отъезд сквозь сеющий косо снег – палевый узелок с подвязанным камушком, и еще несколько палевых. вот она, бугорчатая сладость исчезновения, с каким прилежанием я исчезал, – лови меня, ветер, лови меня, снег, не поймаешь. дальше – белым узелочком, хоть что-нибудь белым: станция *168 улица*, в последнем вагоне – она, в сереньком дождевичке, усталая после работы. машет рукой. вбегаю в вагон, мы едем до ее станции, проходим по грязному осклизлому тоннелю, выныриваем на улицу, облепленную пятнами тающего снега. улица изгибается, как река; мы идем вдоль ее излучины, вдыхаем подмороженный воздух с можжевеловым привкусом.

тропа плавно забирала вверх. джемма не нуждалась в частых передышках. теперь я не мог представить себя без ее черепашьего хода, без пустоватого постукивания походных палок, без рваного румянца на пухлых щеках. наши нити переплелись, я становился продолжением джеммы, а она – моим. перуанцы говорят: *от древа молчания – плоды покоя.* джемма – безмолвное дерево, заплывшее коростой в глубоких кривых трещинах. я тоже превращался в дерево, вернее, мы – с общей сердцевиной – были покрыты одной коростой. а еще говорят перуанцы: *только тот, кто несет крест, знает, насколько он тяжел.* слова эти правдивы лишь отчасти. человек привыкает к любому бремени, забывая о нем, или перестает быть, исчезает из списка живущих. мы не можем мучиться вечно; для этого придумали ад.

поезд из ольянтайтамбо в агуас кальентес. колесная стукотня назойлива. кажется, колотишь кулаком в дверь, а она заперта; тебя грызет неотвязная мысль, что там, за дверью, кто-то стоит, таящий дыхание. скорее бы, чтобы с ума не сойти, вжиться в этот рахманиновский перестук, клавишный перебор *allegro ma non tanto*. успокойся, нет здесь дверей, кроме двух тамбурных, – приложи ладонь к фотоэлементу, и они поползут, одна – вправо, другая – влево.

передняя дверь скользнула, впустив двухъярусную тележку и девушку в сиреневой униформе. матовое, лунное, нелепое лицо: зауженный подбородок острием клинка; утиный нос с широкими ноздревыми крыльями; темный, прилипчивый взгляд.
– *вам чай или кофе?*
– *чаю из муньи, пожалуйста.*
на лацкане имя, как бабочка, – цинтия. безмолвно наливает кипяток в бумажный стаканчик, протягивает пакетик с чаем, и другой, с подсласткой. руки тоже некрасивые: мартышечьи ладони, короткие пальцы, волнистая бороздка шрама на указательном правом от ногтя вверх.

сквозь колесную дробь – словесный трепет, связность звуков и фраз, внезапно открывшаяся внятность: *цинтия первая на меня взглянула так, что я оказался, несчастный, в плену ее глаз, ведь прежде не был отмечен страстью, и вот амур заставил меня потупить вечно надменный взгляд, сдавил мою голову, встав на нее*[3]. железнодорожное *там-та-там-та-там*. гекзаметрический вальсок, воскрешение звука, казалось, мертвого, – учащенным дыханьем колес.

в окне – щербатые, вросшие в землю строения. не успеешь вдохнуть и выдохнуть, – пронеслась широкая площадь. размалеванный герой на пьедестале: алый кушак, яйцевидная голова под синим сомбреро. ноги чуть согнуты в коленях, еще немного – и пойдет вприсядку камаринский сеньор. он воевал, он проливал кровь за независимость; скорее всего, – не свою кровь. хорошо ему здесь стоять, в центре площади, выкаблучиваться (в прямом смысле) на солнцепеке. вот брызнули, сказал бы сесар вальехо, *мельничные крылья позолоченного циферблата*. джемма спала, положив голову на мое плечо. улыбалась во сне: сперва завязь, потом избыток улыбки, которая, как влажная тряпка, свисала с ее губ.

барышня на соседнем сидении за ноутбуком. на правом запястье электронные часы с розовым корпусом, в носу нечто сережкообразное с двумя металлическими шариками по краям. левая ноздря проколота в двух местах. на лбу солнцезащитные очки в зеленой пластмассовой оправе, виски выбриты до нежного подшерстка, остальные волосы собраны в пучок на макушке. голова круглая, как слегка сдувшийся футбольный мяч. китаец, спешивший по проходу, нечаянно ударил ее локтем. барышня покачнулась всем своим мощным туловищем, грязно выругалась по-английски. на крышке ноутбука готическим шрифтом *empowered women empower women*. мужчина средних лет, сидевший через проход, зубами разорвал пакетик с сахаром. бумажка прилипла к нижней губе.

[3] Секст Проперций. Любовные элегии 1.1-4.

пыльные, чуть не написал *полые,* деревья с обеих сторон полотна, каменистые берега. бойкая порывистая речка. поезд двигался вниз по течению. сплошняком кустарники в сочной листве. высокие кактусы, их колючие лопасти. в горах преломлялись зеленые тени. расщелины гор, как искривлённые рты, застывшие в крике. горный кряж – изношенная маска, под которой нет лица. деревья ложились на ветер. склоны обрызганы солью лишайников. зыбились бедные крыши хлипких домов. под навесом сушилось белье, как застывшая пена солнца. собрание путейцев, их фигуры полукругом, оранжевый полумесяц спецовок, ослиные уши кактусов. скучная сочность зелени. река перекрыта плотиной, вниз от плотины – вся в отмелях, совсем кисельная.

как только поезд тронулся, подростки заснули. одни спали, запрокинув головы и приоткрыв рты, будто хотели сказать что-то важное, но не могли; другие, посапывая, пластались щеками по оконным стеклам. я смотрел в окно. священная долина сужалась в ущелье. ближе подступали горные цепи, будто стремились приклеиться друг к другу лбами вершин. во мне открывалось – глубоким, вещим колодцем – второе зрение: я казался себе песчинкой, ненужным сором, едва заметной точкой на ландскарте, навсегда покинутым населенным пунктом, – пора взять ластик и стереть его. но было еще и другое: зернышко, гранула собственной малости вдруг вырастала, – я видел себя персонажем непрерывной драмы; обращался к горам, как фиванский царь – к несчастным старцам: *почему вы стоите здесь столь просительно?* я наблюдал за ними, свидетельствовал о них перед корявым миром, давал им право – быть.

***

толпа перед турникетом и на территории мертвого города. гид (ее звали норма) подвижная полная женщина в лопушиной панаме и огромных, в пол-лица, солнцезащитных очках, скверно говорила по-английски, настолько скверно, что нельзя было ничего понять. рэймонд спросил, не желаю ли я закрутить с ней роман. я ответил, что нет, она – не моя чашка чая. туристы снимали руины на мобильники. вытягивали руки в стороны, подражая кондору; девушка восточной внешности гнулась, выбрасывая одну руку вверх; другую отводила назад; опускала очки на переносицу, распахивала кукольные глазки. некоторые позировали, указывая рукой на руины, одновременно отворачиваясь от них, точно хотели сказать: *это я здесь стою, за мной – чудо света, каменный город*. фотографировались с остервенением, будто жизнь начиналась и заканчивалась здесь и сейчас, и больше не будет ее. снимались на фоне ламы, обгладывающей газон, *смотрите, смотрите, ламы – лапочки, какие у них симпатичные мордочки.*

два каменных блюдца, в одно глядит солнце, в другое – ночью – луна. окошко в храме, сквозь которое простреливают солнечные лучи во время летнего и зимнего солнцестояний. храм кондора – два камня, как два крыла. вступая в каменный город, попадаешь в лабиринт. ощущение пойманности, обреченности в толпе туристов, даже если идешь по стрелке и знаешь, как выйти к турникету. маслянистые, сытые глаза посетителей. исступленная щелкотня камер. самые свободные существа здесь – ламы, они перепрыгивают с террасы на террасу. рэймонд решил подурачиться, выхватил складной нож; сверкнуло лезвие. подбежал охранник, выбил нож, повалил рэймонда на дорожку лицом вниз, налег всем корпусом сверху.

– *я больше не буду,* – лепетнул рэймонд.
– *сеньор,* – сказал я, заступаясь за подростка, – он *больше не будет. нож можете оставить себе на память.*

пока подростки бегали по сувенирным лавкам возле станции, мы с вероникой сидели в кафе и пили лимонад с мятой. река текла глубоко внизу. чтобы увидеть воду, надо приложить усилие, – перегнуться через парапет моста. краснокирпичная крыша, подсвеченные балкончики в доме напротив. статуя властителя инков с вытянутой бляхой на груди, издали похожей на потекшую голову медузы горгоны. вождь с некоторым вызовом смотрел в сторону новой гостиницы; оттуда доносилась танцевальная музыка. слева от статуи вырезанная из дерева голова индейца с крючковатым носом; справа – голова птичья. листовки на гофрированной жести заборов предлагают голосовать за гомеса или за суареса; эти двое похожи друг на друга, как близнецы. возле моста мелькнула лопушиная панама нормы, она предводительствовала очередной группой. главная улица постепенно пустела. мусорные баки раскрыли свои лягушачьи рты.

7

пойдем быстрее. небо, гляди, провисло на той стороне, где гора под снегом и льдом светилась только что, огненный шар опускался, как голова рыжего клоуна. она, отсеченная, катилась по склону. прощай, рыжий, прощай, мой август, я плесну паленого виски на твой пыльный, вихрастый парик, поцелую в темя, в холодный прозрачный воздух, зарою в рыхлом грунте. тебе не стоять посреди арены, не доставать из кармана пачки ассигнаций, не сжигать их перед хохочущей публикой, не падать с лошади в огромном, не по росту, балахоне, чтобы тыкали в тебя пальцами и говорили: – вот он, вот он, до слез, до слез.

смотри, джемма, скользящий воздух мутнеет слева. тень, говоришь ты, но это не тень, то есть да, тень, ее густой замес, она – осязаемей, сплоченней всякой горы, сама из себя рожденная, из своей пустоты. вот она творожится серой массой, – бывшее влажное пятнышко, прежнее перышко на взлобье уступа. провисшее небо тянется к нам. быстрее пойдем, поторопимся, прибавим шаг, взойдем к храму. оттуда, сказал антонио, тропа спускается к лагерю, такая пологая, что идешь как по воздуху, ноги сами несут, только переставляй их. я вижу лестницу и ты видишь, смотри, дурочка, как костенеют плиты ступеней, направляя взгляд к проему, за которым – ничего нет, только – суглинистое тело тьмы.

говоришь, они придут на помощь. прийти не смогут, они давно в лагере, пьют чай с печеньями, да и не знают они, где нас застигнет мгла. а индейцы, местные, спрашиваешь ты, помогут нам? вон там, показываешь рукой, жилая постройка. да, вижу, дом, крыша – копна подгнившего тростника, рядом с домом загон для овец за низкой – полметра от силы – кособокой стеной, за которой – поле картофельное... жилая да неживая, – ни людей, ни овец. куда исчезли люди? не знаю, куда. исчезли и всё. не спрашивай больше, продолжай движение, не смотри на меня, как ночничок в пустой комнате, в углу мерцающий. смотри туда, где приливает сумрак, слизывая камни со склонов, и нас слижет, если мы не пойдем быстрее. я хотел бы отмыть твои глаза, джемма,

выпрямить твой взгляд, похожий на эту предгрозовую хмарь. взгляд, покрытый тенью, как столешница – сложенной вдвое скатертью...

лестница к храму, к вратам солнца. трава сквозь растрескканные ступени. наверху, в проеме между стенами, ветер – цепной пес, трехголовый. кажется, у меня вынули сердце, и вложили взамен полый огонь сквозняка. одинокая стоит стена, подкрашена лишайниками. возле стены несколько ямок с приношениями пачамаме, богине земли: листики коки, игрушечные фигурки мальчика и девочки, пластмассовый спортивный мерседес с поднятыми вверх дверцами-крыльями, искусственные цветы на прямых зеленых стеблях. я отдал бы пачамаме все свои сокровища – зажигалку, складной нож, яблоко в фольге, сдохший мобильник, фляжечку с виски. забирай, о madre tierra, всё, только сжалься, выведи нас отсюда.

спустились к подножию лестницы. сразу начался дождь со льдом, частые колкие дробины – вода ощетинилась – впивались в губы и щеки, зацеловывали до глухоты. дыханье ветра сворачивалось в темь. тропы видно не было, даже джемма – одни очертанья остались, хоть и стояла рядом. в льдистом сумраке я едва различал свои ботинки. я дырявил походными палками густой воздух, нашаривал основание лестницы. палка ударилась о нижнюю, показалось мне, ступень. я прокричал джемме, чтобы она шла за мной. джемма ответила, но я не расслышал. от холодного ветра путалось дыхание, дождь проникал за пазуху, струйками стекал по животу

– *джемма, повтори…*

– *мы умрем здесь, вы умрете и я умру…*

она замычала, как мычат коровы, протяжно, просительно, навстречу взбешенному ветру, будто хотела, чтобы тот ее выслушал, но ветер гудел всем своим раздувшимся брюхом, потворствуя сумраку.

мы продирались сквозь высокую траву. начался спуск. я выставлял палки вперед, прощупывал грунт, чтобы не упасть, и все-таки потерял равновесие: палки выскользнули из рук, я покатился вниз по отлогому склону, как бильярдный шар, оттолкнувшийся от бортика, легко и свободно. закрыл лицо ладонями. переворачивался с боку на бок, стремительно набирая скорость на мягком откосе. качение прекратилось внезапно. я встал на колени, затем на ноги. воздух потеплел. лед уже не сыпался с неба, дождь стал обычным холодным ливнем. ветра не было, от него защищал склон. сумрак, разлитый вокруг, как густой, тяжелый дым. я услышал над собой пронзительный вопль джеммы: – *а-а-а, где вы*?! отозвался, прокричал, чтобы она спускалась: – *осторожнее, осторожнее*. джемма сползала на животе, пластаясь по склону, лицом вверх. достигла подножия, поднялась, схватила и стиснула мою руку. мы отправились дальше сквозь высокую, ломкую траву. я держал ее пухлую, влажную ладонь в своей. мы вымокли насквозь. в моем рюкзаке лежал сухой шерстяной свитер в целлофановом пакете. я решил приберечь его. ливень сменился дождем, дождь астеничной моросью. я сказал:

– *нам надо больше двигаться, чтобы согреться.*

– *не выпускайте мою руку из своей*.

– *не бойся, всё будет хорошо. еще посмеемся, когда вспомним, как мы тут продрогли*.

джемма прижалась к моему плечу.

– *не бросайте меня, пожалуйста*.

я высвободил свою ладонь, вынул из рюкзака фляжечку с виски; оставалось немного, не больше четверти.
– *на вот, выпей, согрейся.*
ее лицо было совсем рядом: страх сменился идиотской, амикошонской улыбкой. мол, всё с вами ясно, поддаете, когда никто не видит. от виски отказалась.
– *не буду пить эту гадость.*
я закричал на нее:
– *пей, говорят тебе, пей! хоть немного согреешься.*
улыбка сползла с ее губ. нижняя губа выпятилась. джемма приготовилась плакать, но не стала. взяла фляжечку, сделала глоток, закашлялась. я тоже отпил. мы отправились дальше. туман постепенно рассеивался, клубился на отрогах, уступая место прохладному, шелковистому андийскому воздуху. небо снова становилось небом, на его широком взлобье выступили первые прыщики звезд.

прошли метров двести, остановились. перед нами лежала черная, неподвижная вода. я разглядел противоположный берег, заросший тростником. полоса воды терялась в наступающей ночи. я взял у джеммы походную палку, нащупал дно.
вода едва доходила до колен. внезапная стынь протащила меня сквозь игольное ушко озноба. я посмотрел вниз и увидел свои колени, раздвигающие неживую воду. сделал несколько шагов, остановился. джемма скулила, жаловалась на холод. я протянул ей виски. она не артачилась, отпила немного. вода, казалось, состояла из множества лоскутов, сшитых начерно. она задерживала нас, не хотела пропускать сквозь себя. берег не приближался, тростники сплоченно росли в отдалении. джемма канючила:
– *мы никогда не придем на тот берег.*
я шел, приоткрывая сомкнутость воды, как поднимают край занавеса в театре, чтобы посмотреть в зал, сколько зрителей собралось к спектаклю. тростник приближался постепенно, я различал зазоры в его, как представлялось прежде, сплоченной массе. мы выбрались на берег, прошли между рядами тростников, оказались у подножия скалы, которая уходила куда-то в сторону. земля, на которой мы стояли, была бугристой, в неясных отлогостях.

8

за прилавком стоит она, самоварная баба. *целебная соль*, выкрикивает, *целебная, подходи кто хочет*. пересыпает гранулы из одной ладони в другую. *на вот, понюхай, сынок*. подсовывает ладонь, которая пахнет бог знает чем, – стиркой, варкой, какими-то специями, только не солью. соль, серая, как снег с грязцой, не пахнет ничем. в этой местности всякая вещь осолилась: пыльные склоны, прилавки, заставленные сувенирами; подростки, покрытые коростой пота. не унимается баба: *подойди сюда, любезный сеньор, примерь-ка шляпу, вылитый будешь кабальеро*. смело говорит по-английски, владея лишь мелкотой слов, ветошью скомканных звуков. ее тело оседает к земле, пышная мякоть сзади. спереди тоже пышет дородностью. это хорошо, когда много мякоти; значит соль еще не потеряла свой вкус. не унимается самоварная: *подойди, родимый, не хочешь соли, не хочешь шикарной шляпы, купи хоть чая из листьев коки.* я купил бы. заваришь такой, и дышится легче на высоте, правда на вкус горьковат, пить лучше с подсласткой, а еще лучше разжевывать листья, втягивать выступивший сок.

– нельзя нам с кокой, а чай из муньи есть?
она достает две коробочки, протягивает мне.
– эту упаковку или эту?
– ни ту, ни другую.
отхожу от прилавка. ничего мне не надо, оставьте меня в покое. подростки покупают всё подряд, рюкзаки круглятся обновками. мимо проходит щеголеватый рэймонд.
– нравится вам мой новый свитер?
свитер шерстяной, чудовищной машинной вязки.
– да, нравится. носи на здоровье.

подростки сидели на камнях, щурились на солнце. антонио говорил:
– вы представляете, как тяжело было стаскивать такое в долину?
кивнул на каменную плиту: одна сторона стесана, остальные бугрятся. ее не успели обработать и спустить в город. плита называется «ленивой». антонио показал испанскую гравюру: толпа людей, обвязанных веревками, тащит огромный валун. люди похожи на муравьев, вставших на задние лапки.
– майонез или кетчуп? – рэймонд спросил соседа.
– кетчуп, конечно, – ответил тот.

шесть лет назад, сообщил антонио, журналисты из би-би-си провели эксперимент: собрали сотню местных индейцев; предложили протащить каменную глыбу несколько десятков метров. в эксперименте участвовали юноши, мужчины в летах, женщины с детьми (дети, как в люльке, лежали-сидели в разноцветных пончо). журналисты пообещали участникам немного денег. нашлись желающие, обмотались веревками, свитыми из тростника. усилие было приложено, и – валун сдвинулся, пополз. потом субтильный репортер в розовом джемпере, полыхнув белоснежной улыбкой, рассказывал телезрителям о наследниках инков.

в автобусе разговаривал с вероникой.
она: *если мы попадаем куда-нибудь дважды, значит, наше путешествие закольцовано*: *мы всегда возвращаемся туда, где начинали*.
я: *совпадения тоже бывают. если подростки решили поплавать на гребных досках, мы обязательно окажемся на берегу единственного в округе озера. где же им еще плавать?*
у вероники узкое лицо с острым подбородком. роста она небольшого, вначале я путал ее с подростками. красивые, раскосые темные глаза, с зеленоватой поволокой, русалочьи. лоб и щеки смазывает кремом, отчего они немного лоснятся, но пахнут приятно. носик ее остр и загибается книзу, как птичий клювик. она говорила, что у нее обязательно будет свой дом и дети, *она уже все продумала*.
– у тебя всё получится. ты – сильная женщина, у сильных получается.
– так уж прямо и сильная. – кокетливо отвела русалочьи глазки.

высадились возле лодочной станции. стены раздевалки обмазаны глиной. красные крючки; чёрные плечики висят на них. возле раздевалки паслась лама. вероника улыбнулась:
– мордочка у нее обезьянья.

подростки переоделись, отволокли гребные доски к воде. я остался на берегу, под навесом. мимо прошла босая женщина в сиреневой кофте, голубом переднике и плотной юбке. присела на стул, сложила руки крестом на груди. работницы обедали: киноа с овощами, картофель, еще что-то. работницы неспешно переговаривались, поглядывали одна на другую. на голове босоногой женщины потрепанная шляпа чолиты с высоким верхом. возле озера, у самых тростников лежали два быка с заскорузлой бурой шерстью. третий стоял неподалёку, возле старой ободранной лодки. заходящее солнце просачивалось сквозь прорехи обшивки.

подростки выплывали на середину озера, превращались в цвета своих футболок. им, наверное, зябко было стоять босиком на досках. одна работница говорила громко и неровно, другие кивали, соглашались с ней. подул ветер; деревья завели свой шаманский танец, жались друг к другу, отталкивались. пролетела птица, отчаянно работая крыльями. горы, их упрямая геометрия, кадыки, локти, колени, шишковатые взлобья. леггинсы на ногах работницы – снежинки и олени в круговом повторе. сидящая рядом с ней женщина улыбнулась, прошамкала что-то беззубым ртом. дети выплывали на солнечную дорожку. от яркого света их фигуры чернели.

кургузый погонщик – сперва я не заметил его – сидел за столом с работницами. потом подошел к лежавшему быку и хлестнул его хворостиной. босая женщина в сиреневой кофте выхватила хворостину, замахнулась, но не ударила. подняла суковатую палку, кинула в быка; тот даже не пошевелился. через минуту я услышал крики, две женщины дрались возле раздевалки: одна, в цветастой юбке, набрасывалась на другую, в чёрном замаранном пиджачке; разнимавшие их мужчины уныло переругивались. работница в коричневом переднике смотрела на дерущихся и всхлипывала. я вернулся к столу, на котором стоял кувшин с полевыми цветами. на берегу разложили циновку, там сидела девочка, играла с безрукой куклой, подносила ее к своему лицу, целовала в нос и звонко говорила *хорошая моя*. работница, с которой мы наблюдали драку, убирала тарелки и чашки, обтряхивала клеенчатые скатерти.

подростки работали веслами, лопасти впивались в озерный студень. кто-то из нашей группы упал в воду, барахтался там. ослиная голова появилась из тростников. босая женщина в сиреневой кофте стояла, уперши руку в широкий бок. ее ступни распухли, загрубели до резиновой непроницаемости. она смотрела на тростники, на озеро, сморщенное ветром. осел шевелил ушами. на берег вышла вероника, сказала, что дети столкнули ее в воду и теперь ей надо согреться. быков погнали к дороге, женщина в сиреневой кофте настегивала их хворостиной. осел испустил унылый звук.

молчаливость гор, уступчивость и упорство. их складки наполнялись тенями, каждая складка, выемка, закраина, – как рисунок внутри другого рисунка, – так, наверное, ослепший смотрит на себя из сердцевины своей слепоты. джемма вышла на берег, забралась в гамак, раскачивалась лениво. солнце садилось, слизывая дневное тепло. снежные вершины на горизонте убывали в последний отлив синевы.

луч налобного фонарика обжимал ночь, сеялся над островерхой травой, или пузырился, надувал щеки до черных прорех на зыбкой луковой кожице света; дышал нараспев в темноту. я спускался по склону, боясь оступиться. небо – огромный парус; на его просевшей – точно ветер подул сверху – холстине желтели звезды. казалось, до них можно было дотянуться или хотя бы окликнуть, так дети на тротуаре зовут приятеля с четвертого или пятого этажа: – *выходи, поиграем*!

трава, политая дождем, начала индеветь и теперь похрустывала, когда я наступал на нее. она была похожа на чуть выгнутые сосульки, растущие вверх. джемма шла позади; луч ее фонарика лежал на моем правом плече. я ощущал присутствие света, будто вместо желтого пятна там сидела птица и насвитывала мне на ухо клейкую песню. луч сдвинулся в сторону. я оглянулся. джемма упала на колени, завалилась на бок. я подошел к ней, взял за руку, потянул.
– *я не могу идти дальше.*
– *постарайся, джемма. мы отыщем сухое место, соберем хвороста, разведем костер... кроме нас здесь нет никого, мы и ночь.*
– *а если нас никто не найдет и мы умрем с голоду*?
– *только не с голоду. у меня есть яблоко. утром они нас найдут, или мы их найдем.*

высокая трава закончилась, луч налобника уперся в скопление камней. я просовывал походную палку в щели между ними, осторожно переставлял ноги, нащупывая гладкую поверхность или небольшую вдавленность. мы скользили по влажным покатостям, теряли равновесие, падали. казалось, мы останемся здесь навсегда, будем поскальзываться и падать, вставать и опять скользить, ухватываясь за склизкие выступы. я сел на камень, джемма пристроилась рядом. пока мы перелезали через камни, движение согревало нас; теперь внутреннее тепло выветривалось, как тополиный пух, на который только подуешь, и он улетает куда-то. я засыпал, убаюканный, как мальчик из стихотворения гете. мне снилось: человек в синем плаще стоит возле конной статуи полководца. появляется гончая, подбегает к человеку, заглядывает в глаза. он знает, но не может вспомнить, как зовут собаку. вдруг она превращается в женщину, которую он ждал; на ней веселая ушанка и тесная заячья шубка. ее губы пахнут яблоком. падает скошенный снег, облепляет гранитный постамент. бронзовый полководец подносит подзорную трубу к своему единственному глазу, наводит ее на этих двоих…

приснился длинный стол. мы сидим за столом с антонио, пьем чай, разговариваем.
я: *наше прошлое всегда с нами, оно живет в наших костях, крови, кормится нами, от него не отделаться.*
антонио: *ты слишком просто смотришь на вещи… время похоже на тощую лисицу, которая одновременно разоряет три курятника: один опустошается прямо сейчас, пока мы с тобой беседуем; другой давно разорен, но разорение все еще длится, как одно повторяемое действие. есть еще и третий курятник, о котором лиса пока не знает, но обязательно попробует проникнуть в него. у тебя есть выбор: ты позволишь лисице делать всё, что ей вздумается, или поймаешь ее и убьешь. тогда прошлое, настоящее и будущее столкнутся восковыми лбами, и ты приручишь время, и оно, наконец, станет твоим, а не серой рекой, текущей мимо, не звездами, чей свет колоситься впустую. тогда*

воскреснут все курицы, сожранные лисой, и даже та, которую мы съели на ужин вчера в лагере, и вот она снова у тебя в руках – мягкий, послушливый, дышащий комок перьев.

я открыл глаза. джемма спала рядом, на плоском камне, лежала на боку, подогнув колени под живот. я тронул ее за плечо:
– здесь оставаться нельзя, надо спускаться до первых деревьев, там разведем костер, иначе – замерзнем.
она приоткрыла глаза. ей было всё равно, замерзнем или нет.
– вставай джемма, вставай же, будь сильной…
поднялась неуклюже, подобрала желтую палку. луч моего налобника на миг ослепил ее, взгляд – тяжелый, вязкая коровья покорность. мы пошли дальше. снова скользили и падали. иногда ложились на живот и, обхватывая камни, переползали через них.
– джемма, ты в церковь ходишь?
– да, иногда с семьей по воскресеньям.
– молитвы какие-нибудь знаешь?
– одну или две.
– повторяй их, тогда будет легче. попробуешь?
– hail mary full of grace, the lord is with thee. blessed are thou amongst women… а вы?
– что я?
– вы верите в бога?
– смотря когда.
– сейчас верите?
– сейчас нет.

мы выбрались на комковатую мягкую поверхность. приблизились к краю то ли пропасти, то ли того, что казалось пропастью: земля резко обрывалась вниз, луч фонарика рассеивался в пустоте. захотелось шагнуть в слепой бархат ночи, пройтись по черному воздуху, как ходят по улице. я двинулся вдоль обрыва. иногда останавливался и прислушивался к глубокой тьме. джемма сказала, что дальше не пойдет. села на землю, подогнула колени, уткнулась в них лбом. я достал из рюкзака зажигалку и книгу. вырвал несколько страниц, поджег их: бумага весело загорелась. я положил пылавшие страницы поверх раскрытой книги. огонь занимался нехотя, сначала облизывал книгу, потом она запылала вся, осветив джемму и пространство возле нас. я пододвинул книгу поближе к джемме. она протянула руки к огню, держала их ладонями вниз над угасающим пламенем. я заметил узкий изгиб тропы. сказал почти шепотом, будто боялся спугнуть эту вытоптанную мулами и людьми индевеющую грязь,
– вставай, вставай, мы нашли тропу… теперь будет легче.
– …
– видишь, здесь тропа... мы спустимся к деревьям.
– вы опять меня обманете.

деревья появились из темноты, луч фонарика скользнул по гладкой коре, осветил две-три ветви. я собрал немного хвороста, попытался развести костер: отыскал в рюкзаке рваную картонку; она тихо сгорела. отсыревшие ветки не занялись, даже дыма от них не было. я отдал джемме сухой свитер, сказал, чтобы она надела его под куртку, на голое тело. пока переодевалась, бормотала что-то себе под нос, наверное, жаловалась на холод. из

рюкзачного кармана я вынул яблоко, разделил его пополам. одну половинку отдал джемме; она быстро ее съела, я – тоже быстро – свою. я набрел на невысокое каменное ограждение, вероятно, загон для овец; рядом – под дощатым навесом – несколько стожков сена, похожих на приземистых индейских женщин в широких юбках. джемма легла на стожок, примяв его до земли. я укрыл ее несколькими охапками сена, его колкой, холодной тяжестью, щекочущей горло и щеки. она заснула, лицом к звездному небу. я соединил два стожка в один и зарылся в сено, подложив рюкзак под голову. долго ворочался, сухая трава залезала в рот, мешала дыханию

10

виракоча – *тук моря, ожирение морской пены*. виракоча создал человека, но возненавидел свое творение и навел потоп на землю. он вывел на небо солнце, луну и звезды, повторно сотворил человека: создал тела мужчин и женщин из мягкого, податливого известняка. разделил людей на племена; дал каждому племени свой язык, песни, которые они будут петь, одежду, которую будут носить, семена овощей, чтобы употреблять их в пищу. бросил цветки пупуны на землю, она покрылась сетью оросительных каналов.

виракоча носил белые одежды, спускавшиеся до щиколоток. выстригал макушку головы. ходил по деревням. люди не узнавали своего создателя, выкрикивали оскорбления. повстречалась ему красивая женщина по имени кавилака. он захотел возлечь с ней, но она отвергла бога. однажды кавилака сидела под лукумой и пряла, виракоча превратился в птицу, сел на ветку, излил семя на созревший плод лукумы и бросил его к ногам девушки. кавилака очистила плод от тонкой кожицы, попробовала желтой мучнистой мякоти и через девять месяцев родила мальчика.

прошел год. виракоча явился к кавилаке в обличье нищего странника. мальчик обрадовался, подполз к виракоче; тот посадил его на колени. тогда кавилака схватила сына и побежала в сторону океана, в направлении смерти. она вошла в воду и превратилась в остров. ребенок тоже стал островом. два острова, обросших пахотной землей. виракоча искал кавилаку повсюду, в горах и на побережье, расспрашивал птиц и животных, не видел ли кто-нибудь молодую женщину с годовалым сыном. кондор пообещал виракоче, что он непременно найдет кавилаку. тогда виракоча благословил кондора: кондоры будут жить долго, питаться падалью, которой в андах всегда в избытке. никто не посмеет убить кондора, а если убьет, то погибнет.

взгляд проскальзывает сквозь каркас легенды, выныривает в пустоту. самое важное упущено, недосказано, например, – *что* чувствовал человек, проснувшийся в жизнь? когда наступил момент понимания, что он – *человек,* а не камень-известняк, заеденный ветром? когда он в первый раз сказал себе: – *мне жарко* или *я голоден?* что ощутил первый мужчина, когда сблизился с первой женщиной, легкий озноб или сонливость? я хочу знать, что подумала кавилака, когда у нее под сердцем шевельнулся ребенок. почему она побежала навстречу смерти? повествование бугрится над ржавой водой упущенных подробностей, не дает покоя.

***

автобус из урубамбы. урубамба – город и река, на окраине города лесопилка, стволы разрезают на доски, древесная мякоть издает еле слышное *ох*. трещины, изъяны в каждой доске. выбор невелик, но и люди здесь невзыскательны. рядом хозяйственный магазин. пахнет машинным маслом, резиной. бурые коровы щиплют травку возле площади. чолиты в высоких шляпах, в широких юбках, несут покупки за спиной, в просторных пончо. покупки покачиваются, как дитя в колыбели. недостроенные дома с арматурой, дырявящей воздух. пыльный проселок. возле дома стоит молодая женщина, держит на веревке большую бурую свинью, глядит на нее с восхищением и нежностью, до блеска в темных глазах.

во дворе усадьбы нас встретили женщины в национальных костюмах. с ними был мужчина, тоже в костюме, похожем на мадьярский. только на голове – разноцветная, плотно пригнанная к черепу шапочка. женщины затянули песню, мужчина ударил в барабан. одна чолита взяла меня за руку и вывела в центр двора. начала пританцовывать, двигала своими и моими руками, как поршнями. другие женщины танцевали с подростками. они подарили нам гирлянды из полевых цветов, сделали несколько фотографий на память. вечером резкое падение температуры. холод, идущий от озера, ощущаешь всем существом, будто сам превращаешься в камень.

весь день мы рыли гнезда для опорных столбов сарая. три передних и промежуточных выдалбливали на 40 см, три задних – на 50. землю крошили строительным ломом. в одних лунках земля была податлива; она быстро превращалась в пыль. в других, где змеились, переплетаясь, корни, пользы от лома не было: он проскальзывал мимо узловатых сплетений. мы вручную рвали цепкие корни. джемма трудилась яростно, до грязных капелек пота на лбу и подбородке; спешила закончить работу, хотя ее никто не торопил. остальные девочки сидели на досках в чистых оранжевых перчатках и по очереди обнимали чумазую дочку плотника, которая иногда убегала от них и пряталась; потом возвращалась, выпрыгнув из кустов, и хлопала в ладоши; танцевала и лепетала что-то.

сметанные стога, одни с еще зеленою травой, другие – выцветшие, подгнившие. индейцы кидали охапки травы в раструб шумного агрегата. из другого, зауженного, отверстия вылетала светлая пыль, задерживалась в воздухе, ложилась на землю, слоилась бархатно. возле выходного отверстия индеец орудовал лопатой, похожей на весло с широкой лопастью. птицы летели над озером неправильным треугольником, точно собранный пазл запустили в небо, и он рассып***а***лся в полёте. другая стая пролетела над самой водой. фонари вспыхивали по краям озера. слезная влажность озерного вечера. подошла чолита, сказала, что в этой деревне народ не бедствует; сюда приезжают туристы из европы и сша, покупают изделия народного промысла. показала постер, на котором широкоплечий увалень в тирольской шляпе обменивался сувенирами с местными жителями. осклабилась; тень самодовольства пробежала по морщинистому, губчатому лицу. она махнула нам рукой и отправилась по своим делам. шла вразвалочку, как прирученный медвежонок.

после ужина чолиты пели хором. их испанский отрывист, как разрезанный лист бумаги. девочка в розовой кофте прочитала наизусть стихотворение на языке кечуа: *овцы возвращаются домой с выпаса, их шерсть запаршивела, над озером плывет чёрная туча,*

старый пастух не знает, что будет дальше. чолита рассказала легенду о возникновении озера: на месте озера стоял город. однажды там праздновали свадьбу. наряженные гости угощались и веселились. в город пришел старик в рубище, грязный, с почерневшим от пыли лицом. он явился на свадьбу. гости не обратили на старика внимание. несколько человек хотели прогнать его. лишь кухарка пожалела странника, привела на кухню, накормила. он сказал кухарке, чтобы та немедленно покинула город. предостерег ее: *уходя из города, не смей оглядываться*. она стала подниматься по склону *вон той горы*. чолита указала на черневшие вдали склоны. кухарка не сумела перебороть любопытство: поднявшись наверх, оглянулась и увидела, – на месте города голубело, как огромный глаз неба, озеро. ужас не успел проникнуть в сердце женщины, – она превратилась в камень. *этот камень до сих пор можно видеть на самом верху горы*.

чолиты провожали нас, весело махали вслед, будто радовались нашему отъезду. наверное, так оно и было. автобус медленно ехал разбитым проселком, подскакивал на ухабинах. по дороге трусили овцы, за ними бежал мальчик, пиная желтый футбольный мяч. на мальчике была красно-белая футболка национальной сборной. в правой руке он держал железные прутья, на голове – грязная серая шляпа. мяч отскакивал от стен домов и возвращался к мальчику. возле крайнего дома сидела чолита и пряла шерсть. через поле шли люди с лопатами. овраги, россыпи камней, складчатые горы вдалеке, холмики щебня поблизости. подсобные помещения без окон, как тело легенды, просматривались насквозь. на стенах лепились листовки *голосуйте за гомеса*. мул плелся по пыльному склону. дерево наклонилось в сторону дороги, заламывая кривые ветви. накрапывал дождик, земля выгибала шерстяную спину.

11

сено, в которое я зарылся, расползалось. я просыпался от холода и снова громоздил колючие охапки одну на другую. я знал, что можно замерзнуть, растеряв телесное тепло, навсегда отдав его стылой ночи. я лежал, как дотлевающее полено, с последними, бессильными язычками огня. иногда я засыпал, хотя сном назвать это было нельзя, – вязкое забытье, какие-то случайные люди и события появлялись ниоткуда и исчезали, не успев обозначиться. утром я открыл глаза и увидел полоску света с обеих сторон снеговой вершины. свечение ширилось, вытягивалось вверх, будто кто-то перебинтовывал размякшее тело тьмы. джемма проспала всю ночь; ее сон был глубок; лицо, как маска мумии, выглядывало из сена. я разбудил ее. в рюкзаке отыскал несколько миндальных печений. она молниеносно сжевала их, ничего не сказав. мы отправились вниз по тропе.

взошло солнце; началась шершавая, усушливая жара. наши лица раскраснелись от зноя. джемму томила жажда, но она продолжала движение, хоть и медленно, но без частых остановок, без обычного своего нытья. я молчал, она тоже ничего не говорила. от ее пришаркиваний поднималась пыль, заслоняла солнечный свет, забивалась в глаза, ноздри, рот. мы оставляли в ней отметины рифлеными подошвами: лесенки, вздутия, ямки. я написал бы победную оду пыли, превознес бы ее, похожую на высохший речной поток. пыль как скопище духов, растаявшие тела людей, обитавших здесь, их бессловесно длящийся разговор. мне казалось, я вдыхаю в себя их жизни, всё то, что принадлежало им,

– звериную выдержку, дубленый рассудок, гнутые песни, аляповатые наряды, землистость кожи, въедливую сутулость.

мы шли вдоль акведука, видели полустесанные плиты. из таких инки возводили стены храмов, дворцов, хранилищ. плиты подгоняли одну к другой так, что бумажный лист не просунуть в шов. одна плита служила продолжением другой, продлевала эту безвоздушную спаянность, будто они, эти плиты, – вода, ведь только влага может вот так же льнуть к самой себе. я вспомнил уступчивость камней в мачу пикчу: плиты облегают выступ скалы, как перчатка – руку. они перетекают одна в другую, как образ мира, его текучести (и сознания, растворенного в нем), и моя оплывающая на жаре жизнь – продолжение другой, к которой я прилепился, не оставив зазоров.

мы остановились, присели на камни. джемма наклонилась вперед, подперев кулаком подбородок. наши тела отбрасывали мешковатые тени поверх камней и жухлой травы, липнущей к ним. тропа поворачивала вправо и исчезала за тупорылым выступом скалы. из-за поворота появились две фигуры. впереди шел мужчина, мельчил шаги, поднимая пыль; синий джемпер обтягивал круглящийся живот. следом мягко ступала женщина, двигалась с удивительной легкостью, будто ее рюкзак был набит пухом. густые каштановые волосы до плеч. тоненькая косичка с вплетенными в нее разноцветными ниточками змеилась возле левого виска вниз, к щеке и тонкой шее. они поравнялись с нами. мужчина вытер пот рукавом джемпера. я поздоровался, спросил, далеко ли до священной долины. мужчина ответил, что недалеко, несколько часов хода. приглушенный голос, вроде бы и не голос даже, а отзвук голоса. женщина говорила отчетливей. я уловил знакомую червоточинку в ее английском выговоре; почему-то вспомнилась порыжелая в подмышках эстакада бруклинского метро.
– откуда вы, ребята?
они ответили, откуда, и назвали город. имя города прозвучало как итальянское слово, сверкнуло бутылочным осколком. я сказал, что в их городе течет чудная река; я видел ее однажды в детстве: отец взял меня с собой в командировку; мы стояли на берегу, и отец говорил мне: смотри, какая река, широкая, судоходная, впадает в волгу. мужчина заметил джемму.
– дочка-то по-русски понимает?
– нет, не понимает.
– как же это ужасно, когда дети не знают языка родителей, – воскликнула женщина. встрепенулась ее косичка.
– ничего ужасного.
– она, наверное, даже не знает, кто такой пушкин.
– а кто он такой?
ужас изобразился на ее лице. она была прекрасна, – такой, наверное, должна быть гертруда, мать гамлета.
– плохо, когда ребенок не знает вашего языка. я, например, пишу детские книжки и не могу представить, чтобы мой сын не смог их прочесть.
– видите, как вам повезло.
джемма подняла голову и замычала. ее мычание нарастало, как дерево, которое желает обнять весь воздух ветвями; была в этой гортанно-носовой жалобе сладкая, безумная

глубина. мужчина и женщина переглянулись и, не попрощавшись, отправились прочь. джемма перестала мычать и спросила:
– *что это были за люди?*
– *понятия не имею.*
– *на каком языке ты говорил с ними?*
– *ни на каком…*

ольянтайтамбо появлялся постепенно из-за спины отрога. лоснящееся имя города, точно листья салата поливают оливковым маслом. мы проходили вдоль окраинных домов. нам попадались чолиты в цветастых нарядах. я обратился к одной из них: *привет, сестра*. она прислонилась к стене, чтобы нас пропустить; промолчала, даже в нашу сторону не взглянула. мы прошли мимо прачечной, где в ногах у молодой женщины возились две маленькие девочки (та, что постарше, держала в руках пустую литровую бутылку из-под сока); мимо китайской забегаловки, там обедали сутулые носильщики, мы видели их бурые затылки, вихрастые головы, склоненные над тарелками с куриным супом; мимо сувенирной лавки, в витрине – игрушечные ламы, широкие штаны в полоску, магниты с видами куско и мачу пикчу, чашки с названиями городов; мимо пансионов с щербатыми стенами; мимо будки, чуть приподнятой над мостовой, там сидел полицейский и лениво руководил движением; мимо какого-то то ли канальца, то ли водостока, в который можно свалиться и сломать ногу. мы шарахались от грузовиков и маршрутных автобусов, заполнявших собой почти всю улицу. солнце наводняло священную долину, залащивало руины инкских хранилищ. туристы, ждущие своего поезда в куско или в агуас кальентес, выходили покурить на привокзальную улицу. женщина в белой панаме продавала с лотка пирожки и бутерброды, переговаривалась с точильщиком ножей, он сидел без дела на бетонной тумбе и улыбался беззубым ртом. в воздухе висела золотистая пыль.

нью-сити, июль ‘19 – февраль ‘20.